

ВЛАДИМИР РУГА, АНДРЕЙ КОКОРЕВ

ДЕЛОВАЯ МОСКВА: НАСЛЕДНИКИ

*Отец или дед его, конечно, начал малым,
На счастье, к плутовству отменно
был пригож,
И вот разбогател, — бегут, как вал за
валом,
К наследнику рубли, считай, так
не сочтёшь.*

Фёдор Сологуб

Автор статьи о московских купеческих фирмах, опубликованной в журнале “Современная летопись” в 1864 году, в качестве крупного недостатка отмечал их недолговечность, отсутствие преемственности поколений:

“Известно, что купеческие капиталы составляются у нас очень быстро. Обыкновенно простой русский человек, учившийся на медные деньги, а иногда и безграмотный, начиная торговлю с десятью рублями, наживает в короткое время состояние и часто делается родоначальником большого торгового или фабричного дела. Но этот же человек, способный и привязанный к своему делу, редко в состоянии бывает внушить своим детям эту самую привязанность”.

Главным образом, это было связано с принижённым положением купцов в сословном обществе. Другой причиной, по мнению журналиста, являлся самый сложный для коммерсантов того времени вопрос об образовании их детей:

“Дети подрастают, детей пора учить. В первый раз в жизни приходится отцу, мало заинтересованному, разрешать вопрос о воспитании. В душе его начинается происходить борьба: учить детей или не учить? С одной стороны, как человек хотя и не образованный, но способный, он не может не сознавать в душе пользы образования, с другой стороны, инстинктивное сознание и мучительная боязнь, что, выучившись, дети не станут заниматься отцовским делом, борются в душе отца и мучат его. Представьте себе родительскую любовь, родительскую мечту видеть в детях помощников своих, потом ложный взгляд людей этого круга на образование, что дети, выучившись, не уважают родителей, постоянные примеры перед глазами, что они стыдятся своего звания и бросают торговлю; представьте себе все это, и тогда вы поймёте, как борьба бушует в душе купца при вопросе о воспитании детей”.

Опасения эти не были надуманными, поскольку в купеческих семьях постоянно возникали ситуации, когда получившие образование дети прямо от-

казывались жить по заветам отцов. Одним из примеров служит рассказ С. А. Четверикова о том, как он, выросший в купеческой семье, где строго придерживались старых заветов, однажды устроил настоящий бунт против самых основ:

“Когда я был в последнем классе гимназии, начитавшись Фейербаха, Моляшота и др., я отказался идти к причастью. Это как-то дошло до сведения деда и вызвало страшный переполох. Дед <...> кричал, топал ногами, грозился меня проклясть, но я в уверенности, что отстаиваю свои убеждения, не сдавался. Тогда был экстренно вызван какой-то старец из Оптиной пустыни меня увещевать. Помню, что из этих увещеваний, кроме безысходной скуки, я ничего не вынес.

Старец, уезжая, как резюме своих трудов сказал: “Отрок сей безнадежен. Молитесь о его душе”. Обстоятельство это надолго совершенно нарушило мои отношения к деду, и только когда после трагической смерти отца я, 20-летний юноша, остался лицом к лицу с разорённым фабричным делом, единственной поддержкой семьи, отношения деда ко мне резко изменились”.

И ладно бы дело ограничивалось только отношением к религии. Юный сын купца отказывался продолжать семейное дело:

“Для завершения моего образования и для приучения меня к коммерческой деятельности отец меня отправил для занятий в контору нашего представителя в Петербурге, немца М. Жил я в его семье <...> И я вообразил, что путь мой не фабриканта, по стопам отца, а музыканта. К тому же неважно шли мои конторские занятия, и главный бухгалтер-немец меня охарактеризовал: “Никогда хорошо купец не будет”. Я выпросил у отца согласие на изучение теории музыки в связи с композицией, на что он согласился”.

Только печальное стечение обстоятельств заставило С. А. Четверикова отказаться от карьеры музыканта и вернуться к занятию коммерцией, в котором он в последствие так преуспел:

“После двух лет пребывания в Петербурге я получил от отца письмо, в котором он писал мне, что дела на фабрике идут всё хуже и хуже и что он желал бы видеть во мне своего помощника. Я страстно любил отца, и его слово было для меня законом. Рассуждать не приходилось, тем более, что бредни об артистической карьере были окончательно изжиты. Я поселился совсем на фабрике и предался совершенно новому делу. Музыка отошла на второй план.

Через год в нашей семье случилось большое горе. Отец скоропостижно скончался, и фабричное дело оказалось совершенно разрушенным. Мне было 20 лет, и на мои столь ещё юные плечи легла задача восстановления дела и содержания семьи, в которой я был единственным добытчиком”.

Ситуация в купеческой семье, когда по воле отца сыну пришлось отказаться от мечты получить образование и заниматься наукой, описана А. А. Комаровой в романе “Одна из многих”:

“Будучи лет на семь старше своего брата, он рос в страхе Божиим и отцовском. Старик П-н был купец-самодур старого закала; жена и дети трепетали перед ним. Василий Андреевич был человек чрезвычайно даровитый и прочно умный. Он блистательно окончил курс в коммерческом училище и мечтал об университете и об учёной карьере; но отец потребовал от него помощи в торговле. Не смея послушаться родителя и сознавая, что ему обязан образованием, Василий Андреевич, скрепя сердце, принял за торговые занятия. Прошло семь лет. Александр Андреевич вышел из коммерческого; тогда старший брат его порадовался, полагая, что теперь-то он свободен идти в университет; но не тут-то было: отец не хотел об этом и слышать. “Саша молод, неразумен, ещё напутает что-нибудь, пусть он лучше едет в университет, а ты оставайся при мне”. Не будучи знаком ни с Добролюбовым, ни с Чернышевским и братиею, Василий Андреевич не протестовал и повиновался воле родителя”.

Зато младший брат успешно вошёл в храм науки, но его судьба послужила ярким примером того, как полученное образование коренным образом изменило сознание купеческого сына:

“П-н был младший сын богатого купца. Окончив курс в коммерческом училище, он уехал в Московский университет и поступил на естественный факультет. Два курса он отбыл благополучно; перейдя на третий, случайно со-

шёлся с уже не первой молодости студентом Х. Новый знакомый принялся развивать П-на, возбуждать в душе его стремление к живой правде и к незыблемой свободе. Он как дважды два — четыре доказал П-ну, что человек по прямой линии происходит от обезьяны и что все искусственные тонкости, выдуманные и введённые цивилизацией и прогрессом, — совершенная и вредная чушь; что всякий человек, прежде всего, обязан стремиться к естественности и заботиться о здоровом удовлетворении всех потребностей своего организма. П-н по свойству своего характера всё это несколько идеализировал и, начитавшись “Что делать?”, стал мечтать о том, чтобы вывести из подвала какую-нибудь девушку”.

И что характерно, встретил студент девушку своей мечты, скоропалительно на ней женился, и молодая чета тут же принялась воплощать в жизнь утопические идеи Н. Г. Чернышевского. На папашины деньги юноша устроил мастерскую-коммуну.

Со временем в московском купечестве появилось поколение, которое научились устанавливать баланс между долгом в виде обязанности трудиться в семейной фирме и занятием тем, к чему лежит душа. Об этом упоминал в своих записках В. П. Рябушинский: “Это всё типично для московского купечества: каждый молодёц на свой образец, и выражается это обыкновенно в том, что у каждого молодца, кроме его дела, есть ещё что-то, чем он занимается со страстью. Назовём это что-то “любительством”. Иногда оно превращается в центр жизни и делает человека таким известным, что забывают о его деловитости. Наверное, редко кто теперь знает, что основатель Третьяковской картинной галереи в Москве, Павел Михайлович Третьяков, был известным фабрикантом и что Третьяковы — одна из знаменитейших льняных династий в России”.

Не обошёл своим вниманием это явление и П. Д. Боборыкин. Среди избражённой им в романе “Китай-город” череды типов московских коммерсантов встречается и купец, которому любовь к музыке приходится подчинять необходимости вести семейное дело:

“Если за столом сидит кто, играющий на каком-нибудь инструменте, он заговорит о своём корнет-пистоне. Играет он целые дни по возвращении домой, собрал на своей половине целую коллекцию медных инструментов, а когда устанет, призовет двух артельщиков и приказывает им действовать на механическом фортепьяно. С десяти до четырёх он сортирует товар: марену, кубовую краску, буру, бакан, кошениль, скипидар, керосин. В этом он считается большим докой. Перед обедом бывает на бирже”.

Вполне очевидный пример успешного компромисса между долгом и душевным влечением, но типичный для более позднего времени. Напомним, что мы рассматриваем ситуацию, сложившуюся в купеческой среде в 1860-е годы, когда, как казалось современникам, купцы оказались в положении вятзя на распутье:

“Вопрос этот разрешается различным образом: одни совершенно отказываются от ученья, кроме грамоты, другие решаются своих детей учить, третьи избирают благую середину, то есть посылают сыновей года на три в школу, да и в лавку. Однако ж, все эти отцы различных категорий редко видят исполнение своих надежд по предначертанному ими плану”.

Самый простой выбор — ни на шаг не отступать от заветов старины, исходя из постулата, что все беды от образования:

“Первые, т. е. решившиеся окончательно не учить детей дальше грамоты по букварю, обыкновенно староверы, ещё счастливее других. Они до конца жизни сохраняют деспотическую власть над детьми; сыновья их, и выросши, и поженившись, остаются в родительском доме, живут с ними в одинаковых понятиях, привычках, наконец, зарождаются закоснелостью стариков и сами являются живым их подобием. Дело без изменения переходит из рода в род, пока не народится кто-нибудь послабее и, не выдержав древнего стоицизма, не перейдёт в новоблагословенную церковь и не отдаст сынишку в гимназию или в коммерческое училище; тогда картина изменяется и подходит к остальным двум категориям”.

Жизнь показала, что стремление удерживать детей в рамках старых норм поведения посредством ежовых рукавиц зачастую приводило к обратным результатам. Историю одной такой семьи, где сына воспитывали в чрезмерной строгости, а он пустил по ветру отцовское дело, рассказал А. П. Милюков:

“Отец этого блудного сына был настоящим патриархом всех московских гарпагонов. В городе говорили, что в начале своей коммерческой деятельности он торговал рукавицами на Балчуге, потом завел фабрики, открыл большие обороты и в несколько лет терпением и скупостью нажил более десяти миллионов. Скaredность его была баснословная. Рассказывали, между прочим, что он пробил окно в нижнем этаже своего дома, прямо против уличного фонаря, чтобы не жечь свечи и пользоваться в конторе даровым освещением. Каждую ночь ходил он по двору лаять около кладовых и сараев, единственно потому, чтобы не держать и не кормить собак. В этом искусстве достиг он, говорили, такого совершенства, что даже соседи полагали, что у него берегут дом цепные собаки. И во все долгие года своих торговых занятий К... ни разу не выплатил денег без того, чтобы не удержать и не оттянуть у получателя, под разными благовидными и неблагоприятными предложениями, хоть гривну, хоть копейку”.

Купец помимо патологической скупости отличался яркой приверженностью к минимализму в образовании:

“По смерти чудака огромное состояние его перешло к единственному сыну, который только что достиг совершеннолетия. Всё воспитание этого молодого человека ограничилось тем, что его научили кое-как читать, писать и выкладывать на счётах. Не позволялось ему ни выходить из дому, ни заводить знакомств; о развлечениях и удовольствиях не было и речи. Говорили, что однажды отец беспощадно его высек и несколько дней продержал на хлебе и воде в пустом амбаре за то, что он как-то осмелился сходить с приказчиком в театр”.

В результате молодой человек, получив свободу от отцовского деспотизма, вместо продолжения бизнеса, принялся навёрстывать пропущенное в юности.

“И вот в один прекрасный день этот загнанный и забитый юноша, незнакомый с жизнью и людьми, сделался полновластным хозяином двенадцати или тринадцати миллионов. Разумеется, вышло то, чего и следовало ожидать: он закружился в толпе импровизированных приятелей, цыганок и танцовщиц; появилось шампанское, загремели песельники, явились тройки и рысаки – и через три года москвичи прочли в ведомостях, что купец К... за неплатеж гильдейского капитала выписывается в мещане. Это был, сколько я помню, самый капитальный скандал в кругу обильного скандалами московского купечества”.

Герой романа “Замоскворецкие тузы”, живший в то же самое время, к воспитанию своего наследника подошёл иначе. Его жизненный опыт просто не позволял ему быть убеждённым сторонником образования. Однако купеческая сметка подсказывала, что учёба может принести сыну пользу:

“– Молодец! Хорошо. Положим, дробь эта и всякие там знаменатели у нас к торговому делу касательства не имеют, а всё же, может, и дробь иной раз потребуется... Это даже весьма возможно, потому – жизнь пошла другая, размах шире. Чугунок* одних теперь понастроили, не приведи Бог. Таперича вон и на Питер, и на Варшаву чугунка, и на Нижний к ярмонке на чугунке катают... Бедовое дело!”

Правда, как утверждал “Московский купец”, в реалиях 1860-х годов молодой человек из купцов, получив образование, почти гарантированно отрекался от мира коммерции:

“Вторые, решившиеся детей учить, твёрдо уповая на благо просвещения, отдают детей в гимназию, откуда они или переходят в университет, или, заразившись манией к военной службе, поступают в юнкера, или просто по смерти родителей ликвидируют дело, покупают недвижимости и живут доходами, ничего не делая; не многие остаются верными своему сословию и продолжают отцовское дело”.

Причину этого журналист “Современной летописи” видел в том, что купеческим сыновьям в процессе учёбы постоянно давали понять, что они – выходцы из “тёмного царства”. Воспринимать им это было вдвойне обидно, потому что в подавляющем большинстве купеческих семей действительно царили соответствующие нравы:

“Ещё гимназистом мальчик в столкновениях с товарищами, детьми дворян или чиновников, чувствует и переносит на себе тяжёлый гнёт унижитель-

* Так называли железную дорогу.

ного общественного положения своего сословия* ; он слышит постоянно, что купцы мошенники, плуты, невежды, его самолюбие затронуто, он защищается против нападений, но некому поддержать его, некому объяснить ему, что эти укоры несправедливы, что причина их – сословные предрассудки, дело преходящее, что его обязанность как будущего образованного купца собственной деятельностью помочь своему сословию выйти из этого жалкого положения. Некому объяснить ему этого: отец не в силах этого сделать – он теряет влияние своё над сыном, который поддается более влиянию учителей и товарищей; самые понятия отца и сына о жизни совершенно расходятся; дома сын нередко видит привычки и понятия грубые, невежественные, слышит постоянные рассказы о злоумышленных банкротствах – обыкновеннейший предмет разговоров в купеческих семействах, – всё это мало-помалу внушает ему сперва охлаждение к своему сословию, потом отвращение к торговым делам и, наконец, является непобедимое желание выйти из униженного общественного положения своего сословия; молодой человек поступает в университет с твёрдым намерением переменить карьеру промышленника на служебную или учёную. Другие из этой категории, как я сказал, поступают в военную службу или, занимаясь коммерческими делами при отце, по смерти его немедленно оставляют его дела и делаются рантьерами; только немногие остаются при своих делах и передают их в потомство”.

В статье это утверждение (как и все другие) не подкреплено статистикой, но, судя по свидетельствам современников, общая картина была изображена верно. Естественно, на таком фоне отчётливо выделялись исключения. Так, П. И. Щукин и его братья именно в эти годы получили хорошее по тем временам образование:

“В конце лета 1863 года меня отдали в Бемскую школу (Behmscl Schule), находившуюся в гор. Выборге. <...> Весной 1867 года меня и брата взяли из Бемской школы, осенью того же года я был отдан в пансион Гирста в Петербурге”.

Интересно, что в дошкольном возрасте братьев Щукиных обучали тому же, что и дворянских детей:

“На уроки гимнастики ездили мы к французу Билье, содержавшему гимнастическую залу на Большой Дмитровке. Танцам учил нас танцмейстер Вишневецкий, приезжавший к нам в дом вместе со своим скрипачом. Выделять под звуки скрипки разные па было для меня сущим наказанием; танцевать я так и не научился, несмотря на все старания Вишневецкого”.

Впрочем, уроки светского поведения П. И. Щукину наверняка пригодились, когда его вслед за отцом и братом приняли в члены аристократического Английского клуба. Правда, в отношении безупречности манер первенство всё равно оставалось за другим молодым купцом. Представитель одной из ветвей клана Морозовых, Михаил Абрамович, даже имел прозвище “Джентльмен”.

“Этим именем, – пояснял П. А. Бурыйшкін, – он был обязан тому, что с него, как говорится, списал героя своей известной пьесы того же наименования А. И. Сумбатов-Южин. Эта пьеса очень хорошо шла в Московском Малом театре и в начале девятисотых годов, и в новой постановке, незадолго перед войной 1914 года.

Вся Москва её пересмотрела, и о герое много говорили, хотя, в сущности говоря, сам по себе он этого, может быть, и не заслуживал. Был он человек образованный, но без дарований, даже писал (под псевдонимом М. Юрьев), но больше всего знали его в Москве, помимо сумбатовской пьесы, ещё по сказочному даже для Москвы карточному проигрышу: в одну ночь в Английском клубе он проиграл известному табачному фабриканту и балетоману М. Н. Бостанжогло более миллиона рублей”.

* П. А. Бурыйшкін ощутил это на себе даже в 1905 году, когда учился в Катковском лицее. Он был самым лучшим учеником, но руководство посчитало, что на похоронах великого князя Сергея Александровича привилегированное учебное заведение должен представлять юноша из аристократического семейства: “Начальство объяснило, что могут спросить фамилию, и для лица лучше, если это будет титулованный, а не ученик из купеческого звания <...> Для меня вся эта история была весьма неприятна, я хотел сказатьсь больным, но класс настоял, и я на похоронах присутствовал. Должен сказать, что об этом не жалел: на такой церемонии мне вообще пришлось быть раз в жизни, а кроме того, я видел вблизи очень многих известных людей того времени и весь парадный придворный обиход. Но вместе с тем я впервые ясно понял, что тогда значило быть “чумазым”.

В купеческих семьях, где пытались строго дозировать образование детей, преобладание привычной “дикости” приводило к появлению купеческой молодёжи особого типа. Она славилась тем, что демонстрировала зачатки внешнего лоска, но внутренне практически не отличалась от “Кит Китычей” старшего поколения:

“Наконец третья категория, т.е. избравшая благую середину, посылает своих детей в школу года на три: “А то, мол, заучатся, к родителям уважение потеряют”, — говорят они. Эта третья категория — самая большая: принадлежащая к ней молодёжь представляет идеалы недоучившихся недорослей. Они всё-таки считают себя людьми совершенно образованными, понимают толк в модном платье, в лаковых сапогах, любят театр, рысистых лошадей, не задумываясь, отличают Клико от Редерера, сильно добиваются при помощи денег и самоунижения знакомства с дворянами, одним словом, нахватавшись верхушек образования, представляют весьма обыкновенный и распространённый в русском купечестве тип наших безобразников.

“Наши безобразники”, несмотря на своё нравственное уродство, забивают себе в голову, что торговля дело грязное, и хотя не высказывают этого при жизни своих родителей, которые за такое неуважение к отцовскому делу без церемонии разделяются плетью-трёхвосткой, зато после смерти родителя его дело очень скоро и оканчивается. “Наши безобразники” начинают протирать глаза отцовским денежкам, и исчезают с лица земли почтенные фирмы! Это у нас явление самое обыкновенное. Мало ли у нас в городе ходит скомоухов, откидывающих коленца? Это типы Любима Торцова*, промотавшиеся наследники больших торговых домов”.

Помимо пьес А. Н. Островского, образы полуобразованных купеческих сынков прочно обосновались на страницах многих литературных произведений. Если автор стремился в мельчайших подробностях передать черты современной ему эпохи, без таких персонажей ему было не обойтись. А главное — ничего выдумывать не надо. Присматривайся к окружающим из своего сословия и переноси на бумагу, как это сделал, например, К. И. Бабиков. В его романе “Глухая улица” молодые купчики прекрасно сами демонстрируют уровень своей образованности, изображая разговор по-французски:

— Экуте ке-се-ке-се! — говорил один запашистый франт Глухой улицы другому франту, желая обратить на себя внимание юных красавиц замоскворецкого производства.

— Комса, — согласился с ним другой франт, тоже не без желания покрасоваться.

- Алон буар.
- Се тре бьен.
- Силь-ву-пле?
- Аллон!

Красавицы замоскворецкого производства на самом деле были поражены чистейшим парижским наречием франтов, ибо в то время французский диалект считался чуть ли не бесовским наваждением в этой среде, которую я описываю, и образование обыкновенно заканчивалось тем же, чем оно начиналось, — то есть невозможным полным развитием человеческих мясов.

— Какие насмешники! — говорили промеж себя замоскворецкие самородки и долго размышляли о том, какой таинственный смысл заключается в таинственном слове “силь-ву-пле!” А слово это, как известно каждому порядочно образованному человеку, обозначает водку”.

Не менее выразительный диалог привёл автор зарисовок с натуры, сделанных в знаменитой квасной лавке Сундучного ряда:

“За одним столом беседуют двое молодых людей, купеческих сынков.

- Фу-у-у! Насилу отошёл.
- Много вчера вылопали?
- Страсть! Всё портер сажали, а напоследок — шанпанское.
- Кто ж угощал?
- Тут один, рядский...
- Шуму не было?***
- Нет. Только как из сада выходили, так с извозчиком связались.
- Ну, это что за шум. А насчёт женского полу ничего не было?

* Действующее лицо пьесы А. Н. Островского “Бедность не порок”.

** Имеется в виду дебош или драка.

– С двумя армяшками познакомились.
– И что же?
– Мать строга. Меня, грыт, с собой берите, так поедем ужинать, а одних не пуцу. Проели они у нас синенькую* и пошли на все четыре стороны”.

Как в патриархальных купеческих семьях, где отцы держали всех домашних в страхе и беспрекословном повиновении, появлялись такие гуляки? Оказывается, у купеческой молодёжи были свои “университеты” – трактирные. И, если “студент” подсознательно был расположен, он очень быстро превращался из робкого, забитого юноши в безудержного кутилу. Типичным примером служит история героя рассказа “Огонь, вода и медные трубы”, начавшаяся с дружеского застолья в кабинете Патрикеевского трактира:

“– Значит, выпьем? – приступил прямо к делу Хоров, – перед ужином-то хорошо.

Несмелою рукой взял Вася первую рюмку, чокнулся с компанией и выпил. Хотя слёзы и наворачнулись на его глазах от “Адмиральского часа”**, но он скрыл их и вскоре “повторил”. За водкой явилось вино; стали ужинать. Вскоре комната пошла кружиться у Васи; он стал разговорчив. Хлопнула пробка шампанского, за ней другая и третья. Что было потом, Копытин не помнил.

Проснулся он на другое утро в сашухиной комнате: голова трещит, уши словно паклей заложены, во рту горько, глаза опухли и веки отяжелели. Он даже застонал.

– Что, брат, плохо? – подошёл к нему Вольнов. – На-ка, выпей.
Вася выпил бутылку сельцерской воды.
– Голову больно, – прошептал он.
– С непривычки, да и пересолил ты – сразу много выпил.
– А ты не давал бы...
– Да, не дашь тебе! Ты драться стал.
– Ну?
– Ей-Богу. Не помнишь?
– Ничего не помню, хоть убей.
– Нет, Василий Иванович, пить вам много не годится, потому вы во хмелю нехороши.

Копытин умылся, напился чаю и оправился с Александром в лавку.

– Что-то бледен ты сегодня? – осведомился отец.

– И сам не знаю, тятенька, с чего голова у меня разболелась...

Так дело на первый раз и сошло”.

Другой важный момент, отмеченный автором рассказа: для широких застолий требовались немалые деньги. Купеческому сыну, научившемуся много пить, пришлось осваивать искусство добычи средств на кутежи:

“Прошло несколько месяцев. Вася развернулся. Он приучился считать выпитое шампанское полудюжинами бутылок, основательно изучил трактиры белокаменной и перезнакомился со всеми цыганками Петровского парка, – словом, закутил, что называется, закусив удила... Но для кутежа нужны были деньги; откуда же он их доставал?

Дело началось с Александры Карловны. Однажды она явилась в лавку Копытина покупать какую-то материю. Когда Вася отмерил потребное количество аршин, Александра Карловна подала ему сторублёвую бумажку.

– С вас следует пятнадцать рублей, – сказал Вася. Он порылся в ящике и подал ей пачку ассигнаций: в ней было три радужных и красненькая. Александр Карловна быстро спрятала деньги в карман, села в пролётку и уехала. Почти сейчас же Вася хлопнул себя по лбу, слазил в денежный ящик и с печальной миной объявил отцу, что “виноват-с: я-де, тятенька, опростоволохился, – вместо четвертных-то, да сторублёвок надавал барыне...”

– Ах, болван! – окрысился Иван Васильевич. – Ты её знаешь?

– Впервой видел-с.

– Может, приедет... да чего уж! Коли с воза упало – считай, пропало...

Поворчал старик и замолчал; а в тот вечер в “Стрельне” была знатная попойка”.

* 5 рублей.

** Выражение, пришедшее с флота: время выдачи матросам винной порции. В Москве под этим фразеологизмом подразумевали подходящее время для выпивки, а в данном случае – водку.

И следующий шаг купеческого сына не был оригинальным – о таких историях периодически сообщали московские газеты. Вася, не достигнув совершеннолетия, начал брать деньги под векселя, на что не имел права. Дисконтёры шли на это, надеясь, что отец не захочет скандала и заплатит долги юноши. Правда, в истории московского купечества не раз бывало, когда отцы отказывались платить за своих беспутных отпрысков. В таких случаях молодых людей судили за подлог, и после вынесения приговора они отправлялись на жительство в Сибирь. Понятно, что после этого и речи не могло быть о продолжении семейного бизнеса.

Что касается Васи, то ему необычайно повезло. Он оказался свидетелем того, как папаша завершал удачную сделку дружеским ужином в кабинете “Стрельны”:

“Было уже поздно, и в саду господствовала полнейшая тишь и темь; свет виднелся только из отдельных комнат. В одной из них заседал Иван Васильевич Копытин в сообществе двух неизвестных Васе купцов и трех нафардированных* французенок. Одна из них нацепила на седую голову почтенного коммерсанта свой белокурый парик, а другая убирала его бороду цветами от шляпки, которая здесь же валялась в каком-то соуснике. Компания была пьянее вина. Хохот и бессвязная болтовня, звон посуды и бутылок, хрип подкутивших купцов – всё это вместе взятое составляло ужаснейший хаос”.

Вскоре в разговоре с отцом Вася объявил, “что он теперь всякое понятие имеет и от товарищей отставать не хочет”. Попутно он пояснил, что “я этак, примерно, никогда не нахлёстывался, чтобы какой ни на есть мамзели дозволить мне шиньон на голову нацепить”. В ответ почтенный глава семейства не только объяснил, что оплатил все подложные векселя, но и порадовал отпрыска своим твёрдым родительским словом:

– Значит, по седьмым числам ты будешь от меня по пятьсот рублёв получать. Понял? Больше не проси и векселей не давай... А то отступлюсь! Смотри!”

По всей видимости, на решение отца повлияло то обстоятельство, что сын, умело сочетая труд и отдых, оставался помощником в деле. Такую же позицию занимает купец из рассказа А. М. Пазухина “Отцы и дети”. Отправляясь на Нижегородскую ярмарку, он даёт сыну последние указания:

– Себя блюди, из повиновения матери не выходи, – говорит Фёдор Пармёнович Нескладов своему Мише. – Как запрётесь**, так и домой, а ежели в праздник какое развлечение пожелаешь, так заberi мать и сестёр, да и ступай в Сокольники либо в парк. Можно, конечно, и в “Эрмитаж” когда, но чтобы не часто и безо всяких последствий. Понял?..

– Понял, папаша, – со вздохом ответил Миша. – До последствий ли тут, папаша, ежели всё дело на мне будет?

– А прошлым-то годом не на тебе было? Так же тебе препоручил, а ты... Помнишь, каких вертунов наделал?

– Прошлого года я, папашенька, призывным был, полагал, что в солдата пойду, ну, и тово-с... веселился последнее лето...

– Не мог ты полагать насчёт солдат, так как ты один сын у отца.

– Все же были мечты-с...

– Ну, так вот чтобы ноне этих мечт не было!

– Помилуйте-с!..”

Купеческий сын не зря говорит об ответственности. Судя по воспоминаниям П. И. Щукина, во время Нижегородской ярмарки всем участникам семейного бизнеса приходилось трудиться, не покладая рук:

“В то время, когда мой брат Сергей и я были на ярмарке, отец, а потом и брат Дмитрий заботились о своевременной высылке нам товара и ездили на фабрики Губнера, Цинделя и Прохорова, где торопили исполнять наши заказы”.

Вернёмся, однако, к героям рассказа “Отцы и дети”. Один из них раскрыл секрет, как можно было добывать у родителей деньги на походы по трактирам, оставаясь в их глазах пай-мальчиком:

“Сынки остались вдвоём и заняли тот самый стол, где заседали с папашами.

– Кипяточку прикажете? – спросил лакей, взяв чайник.

Миша посмотрел на грудной значок лакея.

– Номер у тебя значительный: сорок восьмой, а дурак ты!.. Где же это

* От французского глагола *farder* – краситься, румянить лицо.

** Т. е. закроет лавку или амбар.

ты видал, чтобы дети, проводив родителей в дальнее плавание, не горевали?.. Горюют ведь дети?

— Это точно что-с...

— А с горя что пьют?

Лакей быстро достал из кармана фрака прејскурант и положил на стол.

— Вот так-то лучше! — похвалил Миша и велел подать коньяку.

— Вор ты у меня, Васька! — говорил Миша, наливая коньяк.

— А что?

— Да как же, братец ты мой, пьёшь ты всякую сырость в свое удовольствие, а папаша твой до сих пор думает, что ты и губ ещё в вине не мочил!..

— В аккурате дела делаю. Зачем их, родителей-то, тревожить? Они старики.

— Я не могу!.. Как ни стараюсь, а всё попадусь... У тебя, должно быть, попроще старики-то?

— Захотелось простоты!.. Папаша пришёл в Москву пешком с полтинником, а сейчас у него “пол-лимончика” будет, дисконтом занимается. Хороша простота!

— Так как же ты увёртываешься?

— Измышляю... Вот сегодня мы с тобою “ахнем” ведь?

— Натурально уж ахнем!

— Хорошо. Домой я попаду утром, а перед этим отгуляюсь, проветрюсь, чайку где-нибудь попью и явлюсь домой, как стёклышко. Явлюсь и сейчас мамаше газету с каким-нибудь происшествием, кражу там какую-нибудь найду, либо убийство, либо пожар... Вот, скажу, мамаша, какое событие было при мне, а я в свидетели попал, в участке до утра продержали, да придётся ещё в суде целый день потерять!.. Ну, мамаша ахать сейчас, охать, а я ей такую фразу: “Это, скажу, ничего, а надо вот сто рублей заплатить, чтобы меня от свидетельства освободили”... Мамаша сейчас мне радужную... Понял?

Миша громко хохотал над изобретательностью друга и с более покойным сердцем начал пить коньяк.

— У меня таких выдумок сколько хошь, — говорил Вася. — Я и тебя научу, пей без стеснения!..

Сынки просидели на вокзале около часу, потом взяли лихача и скрылись во мраке июльской ночи...”

Не исключено, что они напрямиком отправились в “шато-кабак” (так в то время называли места развлечений со свободными нравами) *Salon des variétés*, по-московски переименованный просто в “Салошку”*. Им встреча с отцами не грозила, хотя, судя по рассказу И. И. Мясницкого, и против строго родительского пригляда находилось верное средство:

“— Петька, леший ты эдакий! Насилу я тебя узнал! — восклицает серый пиджак, хватая за плечо чёрный сюртук. — Какой это тебя дьявол угораздил бородку-то с усами на свою образину наклеить?

— Тише ори-то!.. Рази не видал мово тятеньку-то здесь?

— Нет, не видал.

— С таким, брат, здесь товаром воловодится — страх!

— Не узнал тебя-то?

— Целая, брат, история!.. Увидал это меня и глаза вылупил! И я, и нет! Вижу, ходит все возле да прицеливается, а я и ухом не веду... безо всякого, то-исть, внимания к его родительскому сердцу... посмотрит, посмотрит на меня — плюнет и отойдёт!.. Сел я пиво пить... смотрю: идёт ко мне, старый чёрт... не выдержал! “Что вам угодно”, — говорю. Уставился на меня, ровно, вот, съесть хочет. Шалишь, думаю, в чужой шкуре нас пронзительностью-то не проберёшь. “А не знали ли, — говорит, — вы Петьку Свистунова? — И во сне, — говорю, — даже под пьяную не снился, а что? Рази похож я на Петьку-то вашего? — Да вот, говорят, как похож: ежели бы не эта борода с усами — сейчас бы тебе, подлецу, выволочку задал! — Челозк, — кричу, — отведите этого мужчину к сторонке, он дерзкие куплименты начинает говорить!

— Ха-ха-ха... отошёл?

— Так и прыснул! Извините, — говорит, — прошибся: Петька ни в жисть бы таких слов родителю не сказал бы!..

* Свои впечатления от посещения этого заведения А. П. Чехов описал в очерке “Салон де варьете”.

– Ха-ха-ха...

Приятели, покатываясь со смеху, направились к буфету...”

Поскольку в Москве подобные добры молодцы не были исключением, а даже наоборот – очень типичны, в народе они получили обобщающее прозвище: “саврасы без узды” или просто “саврасы”. Составитель словаря “Язык старой Москвы” В. С. Елистратов предположил, что это выражение произошло “от “саврасый, савраска” – одна из наиболее “незатейливых” мастей лошади (светло-гнедой, желтоватой), <...> как намек на необразованность, “недалёкость” и т. п.”

Наскольку нам удалось узнать из свидетельств современников, “саврасами” кутил из купеческой молодёжи стали называть из-за их приверженности к ресторану Саврасенкова, находившемуся на Тверском бульваре. Для них это заведение имело целый ряд неоспоримых достоинств. В нём можно было недорого пообедать, в его задних комнатах играли на бильярде, на втором этаже имелись “нумера”, предназначенные для уединений с временными подругами. Попасты в “гостиницу” можно было и из обеденного зала, и прямо с улицы, как это сделали герои романа Н. А. Чмырёва “Психопатка”:

– Чудной! Куда? Да вон Саврасенков!

– В самом деле, пойдём!

– Так бы давно! Давай руку.

– Руку? Зачем?

– И впрямь дурак! Как же я войду не под руку? – говорила девочка, подхватывая под руку Горденко.

Тот повел её к ресторану.

– Ты это куда же? Я туда не пойду! – проговорила, словно испугавшись, девочка.

– Так куда же? – спросил, удивившись, Горденко.

– Вон в тот подъезд нужно! – проговорила она, и потащила своего кавалера к подъезду номеров.

Горденко со своей спутницей взошёл по лестнице, перед ним открылся длинный коридор.

– Нумер прикажете? – спрашивал услужливый официант. – В какую цену?

– В рубль! – отрезала девочка.

– Пожалуйте-с! – предложил тот, высказывая вперёд и распахивая услужливо дверь номера.

Горденко со своей спутницей вошёл в номер. Лакей поспешно зажёл свечи.

– Чего мы съедим? – спросил Горденко, обращаясь к своей спутнице.

– А ты бери карточку и читай, а чего взять, я скажу, ведь я неграмотная, – наивно заметила девочка.

Ужин был заказан”.

Главной же причиной, почему ресторан Саврасенкова так был популярен среди молодых купчиков, был невысокий статус этого заведения. Солидные люди в него не ходили, поэтому “саврасы” нискольку не опасались столкнуться нос к носу с папенькой.

Понятно, это правило не распространялось на тех, кто, подобно уже известному нам Васе, получил от папаши благословение на посещение всех значных мест. Такие юноши могли себе позволить проявлять широту натуры и в дорогих ресторанах Петровского парка, как это описано в стихотворении “К цыганам”:

*Он завит барашком,
Его речи бойки;
К Стёшкам да Парашкам
Каждый день на тройке
Скачет в “Эльдорадо”,
В “Стрельну” или к “Яру”...
Там ума не надо,
Было б лишь угару
В голове поболе...
Как подсядет к Оле,
Подлезает Маша,
Защепечет мило...*

– “Гурьевскую кашу
 Я себе спросила...”
 Припорхнула Груша,
 В пурпур разодета:
 – “Ах! Какие груши, –
 Шепчет, – у буфета”.
 – Что ж, возьми, – лукаво
 Говорит барашек,
 Тут его орава
 Машек, Пашек, Сашек
 Обступила живо,
 Тараторят разом
 Чуть что не с экстазом:
 – Милый наш! Красивый!..

Писатель И. Я. Гурлянд, юность которого прошла в Москве, на примере героя романа “Особый мир” отметил такую характерную черту своего современника, выходяца из очень богатой семьи:

“Шустрикову было тогда двадцать два года, и он только что кончил университет. Как сын миллионера, он был искренне убежден, что весь мир создан исключительно для него: солнце – для того, чтобы ему было тепло и светло, земля – чтоб он мог в известное время дня фланировать по улицам, люди – чтоб ему не было скучно в одиночестве, ночь – чтобы шумно коротать её в компании прихлебателей”.

Порой такие баловни судьбы не стеснялись наглядно демонстрировать своё пренебрежение окружающим. На страницах газет периодически появлялись сообщения об их “подвигах” в общественных местах, среди которых были и такие выдающиеся деяния, как стрельба из револьвера во время катания в автомобиле по аллеям Петровского парка или бросок бутылки в голову певички, посмевшей отказать назойливому ухажёру.

Обозреватель московской жизни А. Н. Дмитриев поделился с читателями журнала “Мирской толк” впечатлением от невольного знакомства с целой группой “шустриковых”, откровенничавших, не стесняясь присутствием посторонних:

“Золотая молодёжь! Многозначительно, как характерно звучат эти слова! В ней, в этой именно молодёжи лежит залог преуспевания, на ней почивают надежды, она именно призвана и к созиданию, и к водворению, и к широкой деятельности! Юркая, хорошо сплочённая, отлично знающая, где раки зимуют, неустанно подталкиваемая тётушками, кузенами, папеньками, она презрительно и гордо, и это право её, смотрит на всех и вся. И действительно, это право её!

Недавно, например, я имел удовольствие видеть эту молодёжь *en petit comité** в красной “кофейной” Большого театра. Какая роскошь! Чего только я тут не наслушался, чему не обучился! Речь шла... ну, конечно, о *Salon des Variétés*, где молодёжь сия устроила себе “гнёздышко”.

– Мы там, – громогласно и при посторонних людях заявлял один из числа оной, – совсем *comme chez nous***!

Натуральное дело: где ещё в другом месте быть вам “совсем, как у себя”? В прошлом фельетоне я говорил о полезности и даже необходимости подобных танцевальных университетов, а вот вам и наглядное доказательство моих слов.

Посмотрите, например, как мил, как изящен в манерах этот хотя бы безбородый юноша, питомец вышеназванного салона!

– Я, – кричит он, – вчера ужинал с Б.!

– Ну, и что же? – любопытствуют компаньоны.

– Да так, зря накормил. Ну, а я... я уехал с И. Она плакала, говорила, что у неё есть кассир здешний, который её любит, и она его. А мне, чёрт его дери! Уедем, твержу, иначе денег не дам, и уехали.

– Ну?!

– *Parole d’honneur****!

* В тесном кругу (фр.).

** Как у нас (фр.).

*** Честное слово (фр.).

- Умеет, разбойник, обделывать дела!
- А ты не умеешь? Зачем ты приехал в театр, а?
- Зачем! Ты знаешь, я думаю, мои девчонки сегодня танцуют.
- Кто такие?
- Одна –ая, другая –ова.
- И моя, – вмешивается истасканный, с козлиною бородкой франтик, – тоже пляшет сегодня.
- Верочка, что ли?
- Она!
- Звонок, однако, господа: пойдёмте!
- А отсюда мы куда?
- Да сначала поужинаем где-нибудь, а там... в *Salon*, конечно.
- Идёт!..

И милые люди шумно удаляются. Назидательная беседа, а главное – откровенная! Положим, фаворитка кассира – птица не важная, но, как знать, может быть, и ей не хотелось бы, чтобы, рассказывая о похождениях с ней, называли её по имени; вероятно, и названные полными именами, во все горло, танцовщицы – птицы тоже неважные, но, надо думать, и они не желали бы быть так именно афишированными. Прежде о похождениях с женщинами, кто бы они ни были, имели обыкновение скрывать, и тем паче никогда не называли их полным именем; прежде, если сами иной раз кутили, немножко безобразничали, имели обыкновение говорить об этом только среди своих; прежде имели настолько порядочности, что, находясь в публичном месте, немножко стеснялись заставлять других слушать глупости и гадости, а подчас и самое наглое вранье, – теперь же... Теперь это всё считается за особенный шик, за признак бонтонности. А всё вновь открытые университеты. Исполать им!..”

В романе “Тайна” А. А. Соколов, описывая похождения “золотой молодёжи”, отмечал забавную бытовую деталь. При каждой компании имелся прихлебатель, который должен был неустанно развлекать молодых людей. Писатель, окрестив таких “массовиков-затейников” общим именем Поликарп, дал им классификацию:

“Поликарпы именуется всюду, где есть прожигатели жизни, хотя Поликарпы отнюдь не похожи один на другого.

Один Поликарп – человек с гонором, конечно, относительно, но все-таки с гонором; другие, потерявшие всякое человеческое достоинство...

Но занятие “Поликарпов” одинаковое: “шутки шутить” и “увеселять” кутящие “компании”, состоящие из молодых коммерсантов и из богатых интеллигентов, т. е. из так называемой золотой молодёжи.

Каждый Поликарп почти непременно принадлежит к театральному миру. Это или актёр, или певец, или куплетист и рассказчик сцен. В кулисном мире он, конечно, свой человек. Таков характер у всех Поликарпов.

Поликарпы по силе дарований также бывают разные. Есть между ними чрезвычайно талантливые, божки дамского пола, с которыми купеческие саврасы обходятся почтительнее и бывают очень счастливы, если с ними Поликарпы сходятся на “ты” и позволяют фамильярности; Поликарпы со средними дарованиями ценятся уже “по низшему курсу”, а Поликарпы с едва заметными дарованиями третируются *en canaille** и грош цена таким Поликарпам”.

По мнению А. А. Соколова, как молодые бездельники, которым доставляет удовольствие унижать других, так “Поликарпы”, пусть даже высшей категории, стоят друг друга:

“Среди шалопаев и саврасов Поликарп – будем звать, читатель, Краснова-Балабанского для краткости Поликарпом, – держал себя не без достоинства.

Он поставил себя на эту ногу тоже весьма экстраординарным случаем.

Ему нужны были деньги, деньги пустые – всего сто рублей. Но как достать их? Кутили поить будет хоть до сумасшествия, но насчёт “одолжения” туги.

Поликарп напустил на себя меланхолию. Его просила “компания” рассказать или спеть что-нибудь, просила позволения послать за гитарой, но Поликарп отказывался.

– Да что с тобой, Поликарпушка? – спросил один из саврасиков.

– Скучно!.. Завтра платёж по векселю, а денег, – он вытащил радужную, – всего сто.

* Обращаются бесцеремонно, с пренебрежением – дореволюционный фразеологизм.

- Хочешь, я дам сотенную?
- Сделай милость.
- Но с условием. За сотенную я тебе личико твоё горчицей вымажу.
- Да разве, по-твоему, цена вымазанного горчицей лица стоит сто рублей?
- Из копейки в копейку.
- Ни больше, ни меньше?
- Ни больше, ни меньше.

И не успел саврасик оглянуться, как Поликарп бросил бумажку перед ним на тарелку, опрокинул на ладонь горчицу, вымазал саврасу физиономию и, сказав: “Получи по собственной таксе”, – вышел из кабинета.

Случай, дотоле небывалый в летописях московского шалопайничанья; случай, до того поразивший всю честную компанию, что она не опомнилась в течение некоторого времени, но потом признала Поликарпа правым и заставила саврасика испросить у Поликарпа прощения, обязав его честным словом не оглашать происшедшего.

Саврас просил прощения, но Поликарп сделал гадость: он простил, но за пятьсот рублей.

Однако этот факт заставил шалопаев относиться к Поликарпу со сдержанностью и открыл ему небольшой кредит”.

По свидетельству поэтессы Н. Я. Серпинской, в юности вращавшейся в среде “золотой молодёжи”, и в канун Первой мировой войны по-прежнему встречались в Москве дети богачей, спускавшие на свои прихоти родительские состояния. Один из них свои чудачества творил на глазах мемуаристики:

“Федька – плюгавенький блондин в пенсне, не идущем к типу савраса, разыгрываемого им. Когда-то давно, до революции 1905 года, “занимался революцией”, сидел в тюрьме, считал себя чуть ли не социал-демократом. В это время его мать, с которой он ссорился, не получая от неё ни копейки, умерла без завещания. Свалившийся на Федьку миллион сбил с него всякую “революционность”. Быстро освободился он из тюрьмы, преподнес в презент сотенные бриллианты содержанке градоначальника – цыганской певице Зориной, и совершенно преобразился. Завёл цилиндр, наёмного лихача, штат прихлебателей, мебелированную квартиру в Москве на Страстном бульваре, превратившуюся в настоящий “штаб золотой молодёжи”.

Стены шикарных кабаков запечатлели незаписанные легенды их десятилетней кутильной эпопеи.

В трескучий январский мороз в три часа ночи Федька среди цыганского хора умолял на коленях о любви непреклонную певицу Настьку: “Ну, на всё готов, ну – жизнь отдам! – Ах, Феденька, вот что: хочу я спеть “Под душистою веткой сирени”, а сирени-то и нет – одни пальмы. Пусть бы сирень зацвела – я бы полюбила тебя! – Сирень – это самые пустяки – через час зацветёт!” Он послал на квартиру к Ноеву – владельцу лучшего цветочного магазина на Петровке – автомобиль с двумя яровскими лакеями, снабжёнными Федькиной визитной карточкой и набитыми бумажниками. Они, ворвавшись почти насильно в дом Ноева, разбудили хозяина, получили ключи от магазина и, выбрав две кадки цветущей белой сирени, благополучно доставили её, закутанную в войлок и рогожи. В четыре часа утра Настька, благосклонно улыбаясь лежащему у её ног Ненюкову, пела под гитару со всем хором “Под душистою веткой сирени...”

Так же они, только самолично выбирая, как-то ночью покупали полную обстановку в мебельном магазине Балакирева для мебелировки квартиры какого-то нового Федькина “увлечения”. Все были так пьяны, что, когда проснулись днём на вновь купленных дубовых кроватях, никак не могли понять, каким образом мебель очутилась в квартире”.

Примерно в те же годы происходило становление П. А. Бурьшкина, но в его семье отношения между отцом и сыном были построены так, что юноше не надо было ловчить и обманывать, чтобы отправиться в места развлечения, причём предварительно как следует потрудившись:

“У моего отца была весьма своеобразная манера меня воспитывать: я пользовался абсолютной свободой с очень молодого возраста и всегда имел много “карманных” денег. Всё это делалось под молчаливым условием, что я буду хорошо учиться, не попаду в какую-нибудь “неподходящую историю” с полицейским участком, что моё времяпрепровождение не скажется на моём здоровье и что я всегда буду вовремя там, где быть должен. В студенческие

времена я иногда очень поздно возвращался домой, но если вовремя шёл в университет, откуда во второй половине дня отправлялся в амбар, то был волен поступать, как мне нравилось. Больше всего этой свободой я пользовался, чтобы бывать в театре или в концертах, куда меня сначала “возили”, а потом позволили ездить самому.

Помню, как, будучи студентом, я раз чуть не попал “за городом” в неприятную историю, о которой в Москве стало известно. Дело обошлось благополучно, но я всё-таки ждал, что мне “намылят голову”. Отец лишь посмотрел на меня, покачал головой и сказал: “Неужели тебе это интересно?” – Это было хуже “разноса”.

Но были среди молодых богачей и те, кто, как шесть братьев Щукиных, с душой работали в семейной фирме. Правда, со временем большинство из них оставили занятия коммерцией, чтобы с не меньшим успехом трудиться в других областях.

Схожий подход к трудовому воспитанию детей, как вспоминал В. П. Рябушинский, был и в его семье:

“Когда подрастали, то, чтобы приучить к делу, при всякой возможности, если только это не мешало ученью, заставляли ездить в “амбар”.

Что же касается образования, то и здесь всё обстояло благополучно: пятеро братьев Рябушинских окончили Московскую практическую академию коммерческих наук, а ещё трое – реальное училище Воскресенского. Самого автора мемуаров для продолжения учёбы отправили за границу, но он не оправдал надежд семьи:

“Окончив вышеупомянутую Академию Коммерческих Наук, поехал я в Гейдельберг, где пробыл шесть семестров, слушая химию, математику и философию, и оставалось мне ещё 2 или 3 семестра, чтобы сделать докторат, но всё время меня грызла страшная тоска по родине (хотя на каникулы я и приезжал домой), так что я не выдержал и, махнув рукой на докторат, попросил у отца разрешения вернуться домой. Оно мне было дано, но мой авторитет в семье был подорван. “Москва слезам не верит” – это известно, но Москва и дряблости не выносит и презирует, когда дело не доводится до конца. Всё это происходит и в тесном семейном, и в более широком кругу”.

Однако отсутствие диплома престижнейшего германского университета не помешало В. П. Рябушинскому успешно трудиться в семейном бизнесе. А вот два его брата предпочли вместо коммерции заняться тем, к чему лежала душа. Так, Д. П. Рябушинский, увлечшись научными исследованиями, в своём подмосковном имении Кучино основал первый в мире Аэродинамический институт. Другой брат, Н. П. Рябушинский свою долю отцовского наследства растратил на меценатство и кутежи. О нём П. А. Бурый написал мемуарах:

“Николай Павлович был художник, эстет, издатель “Золотого руна”, владелец нашумевшей в Москве дачи, находившейся в Петровском парке и называвшейся “Чёрный Лебедь”. Эта вилла славилась оригинальностью мебелировки, а устраивавшиеся в ней приёмы – своеобразной экзотикой”. “Николашу”, как его называли в Москве, всерьёз не принимали, но он оказался хитрее своих братьев, так как всё состояние прожил ещё на Родине и от революции не пострадал. У него был вкус и знания, и он занимался одно время антикварным делом”.

Стоит пояснить, что “Академия Коммерческих Наук”, в которой учились братья Рябушинские, несмотря на громкое наименование, по своему статусу являлась средним учебным заведением. Правда, его выпускники получали звания “личного почётного гражданина” и “кандидата коммерции”, а также право поступать в университеты, но главное – их прекрасно готовили к практической деятельности в области промышленности и торговли.

В начале XX века Обществом распространения коммерческого образования, которым руководил его основатель А. С. Вишняков, были созданы курсы бухгалтеров. Затем были открыты и мужское и женское училища. В 1903 году

* По Москве ходили слухи, что Н. П. Рябушинский устраивал на вилле настоящие “афинские ночи”. Якобы по саду бегали дамы в неглиже, а за ними с хохотом и криками гонялись пьяные мужчины. Сам владелец “Чёрного лебедя” утверждал, что приглашал в свой дом женщин только для того, чтобы показать им коллекцию произведений искусства.

Общество основало Коммерческие курсы, которые спустя четыре года были преобразованы в Московский коммерческий институт. Одним из его выпускников был П. А. Бурышкин:

“Этот институт я окончил, и вспоминаю о нём с большим удовольствием.

При институте был ряд лабораторий и других вспомогательных учреждений. Все это было сооружено на собранные средства, в чём Алексей Семёнович [Вишняков] был весьма искусен; институтом он очень интересовался, был председателем попечительского Совета, бывал там каждый вечер и любил принимать студентов, но делал это с большим тактом, так как они хорошо уживались с директором института, профессором П. И. Новгородцевым. Все аудитории, классы и иные помещения были выстроены “имени такого-то”, т. е. или самого жертвователя, или в его честь. Очень много было помещений “имени А. С. Вишнякова”. Кстати скажу, что четыре класса и аудитории были имени моего отца и нашего Товарищества”.

Таким образом, мы видим, что московскому купечеству потребовалось менее полувека, чтобы в сфере образования и воспитания новых поколений успешно эволюционировать от “тёмного царства” ко вполне современной на тот момент системе учебных заведений. На наш взгляд, это отчётливо свидетельствовало о том, что мир московских предпринимателей был живым, развивающимся организмом.

Коренное изменение общественного строя, произошедшее в 1917 году, уничтожило этот мир, навсегда прервав преемственность поколений. Спустя столетие это отчётливо видно.

Впрочем, В. П. Рябушинский в своё время давал более оптимистический прогноз:

“Революция смела всё: и плохое, и хорошее. Уничтожено было под метлу московское купечество. Нам, его обломкам, конечно, особенно горько, и больно, и жалко, но унывать не будем.

Пропали как деловые вожди Морозовы, Третьяковы, Бахрушины, Алексеевы, Сапожниковы, Шукины и другие (я назвал наугад несколько имён) потомки русских мужиков. Ничего. Ведь и в нормальное время через 50–70 лет большинство из этих родов сошло бы со сцены, и возвысились бы другие. Говорю это не по статистике, а по опыту: до столетий доживают немногие, потому что видел и слышал за свою долгую жизнь. <...>

Нанесли они [большевики] этим непоправимый вред русской хозяйственной стихии?

Нет, ибо они истребили лишь временный продукт, а не саму стихию, которая его разрабатывает. Действительно, ценные дети рождаются часто (в дедов) и у дрянных отцов; не нужно также забывать, что для выдвижения нужны не только личная годность, но и счастье, выражаясь по-мирскому. В низах, не тронутых большевиками, осталось много ценных людей, которым “не везло”. Вся эта стихия вырабатывает новый отбор”.

Что же, попробуем поверить в лучшее. А вдруг...